

---

---

## Религиозная метафизика и поэтика языка Иосифа Бродского (к 80-летию со дня рождения поэта)\*

© 2021 г. Д.Ю. Дорофеев

*Санкт-Петербургский горный университет,  
Санкт-Петербург, 199106, Васильевский остров, 21 линия, д. 2.*

*E-mail: dorofeev61@mail.ru*

Поступила 24.06.2019

Статья, посвященная 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского, рассматривает метафизические и религиозные аспекты понимания поэтом языка. Автор исследует проблему эволюции отношения Бродского к религии на материале его многочисленных интервью и эссе, показывая, что его особая поэтическая религиозность, лежащая в ее основе метафизика языка и оценка религиозных конфессий формировались под прямым влиянием этоса английского языка и конкретных его воплощений в творчестве Дж. Донна и особенно У. Одена. Именно порядок английского языка (*ordo lingua*), вступивший в диалог со свойственными русской поэтической традиции структурными формами (метрикой, ритмикой, цезурой и др.), определил самобытный склад поэтики, эстетики, мировоззрения, религиозной метафизики и даже внешнего образа И. Бродского. Наиболее близкими в вопросе понимания Бога, мира и человека стали для него кальвинизм и иудаизм. Особое значение в этом контексте имело для Бродского постоянно выделяемое и очень ценное им творчество Марины Цветаевой и философов С. Кьеркегора и Л. Шестова. Для автора статьи важно было подчеркнуть, что как религиозно-метафизические, так и в целом ценностно-мировоззренческие взгляды И. Бродского определялись именно эстетикой языка, беспрекословному служению которому посвящал себя поэт.

**Ключевые слова:** И. Бродский, религиозность, метафизика языка, У. Оден, эстетика, поэтическая религиозность, язык, понимание Бога, кальвинизм.

DOI: 10.21146/0042-8744-2021-1-100-110

Цитирование: *Дорофеев Д.Ю.* Религиозная метафизика и поэтика языка Иосифа Бродского (к 80-летию со дня рождения поэта) // Вопросы философии. 2021. № 1. С. 100–110.

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00385а «Иконография античных и средневековых философов в православных храмах: специфика визуальной репрезентации человека в русской культуре».

# Religious Metaphysics and Poetics of the Language of Joseph Brodsky (to the 80th Anniversary of the Poet's Birth)\*

© 2021 Daniil Yu. Dorofeev

*Saint-Petersburg Mining University (SPMU),  
2, 21th Line, Vasilyev Island, Saint Petersburg, 199106, Russian Federation.*

*E-mail: dorofeev61@mail.ru*

Received 24.06.2019

An article dedicated to the 80th anniversary of Joseph Brodsky examines the metaphysical and religious aspects of the poet's understanding of the language. The author explores the problem of the evolution of Brodsky's attitude to religion through the material of his numerous interviews and essays, showing that his particular poetic religiosity, the underlying metaphysics of the language and the assessment of religious denominations were shaped under the direct influence of the ethos of the English language and its specific incarnations in the works of J. Donne and especially W. Auden. The order of the English language (*ordo lingua*), which entered into a dialogue with the structural forms characteristic of the Russian poetic tradition (metrics, rhythmicity, caesura, etc.), determined the original warehouse of poetics, aesthetics, world view, religious metaphysics and even the external image of J. Brodsky, making for him, Calvinism and Judaism are closest to him in the matter of understanding God, the world and man. Of particular importance in this context was for Brodsky the creativity and creativity of Marina Tsvetaeva and the philosophers S. Kierkegaard and L. Shestov, which was highly valued by him. For the author of the article, it was important to emphasize that both religious-metaphysical and, on the whole, the values and ideological views of J. Brodsky were determined precisely by the aesthetics of the language, to which the poet devoted himself to unquestioning service to himself.

**Keywords:** I. Brodsky, religiosity, metaphysics of the language, W. Auden, aesthetics, poetic religiosity, language, awareness of God, Calvinism.

DOI: 10.21146/0042-8744-2021-1-100-110

Citation: Dorofeev, Daniil Yu. (2021) "Religious Metaphysics and Poetics of the Language of Joseph Brodsky (on the 80th Anniversary of the Poet's Birth)", *Voprosy Filosofii*, Vol. 1 (2021), pp. 100–110.

## 1

Вообще Бродского трудно назвать религиозным, верующим, в традиционном значении этих слов, человеком, не говоря уже о какой-либо степени воцерковленности. Знаменитый «Дом Мурузи» на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля, где долгое время, вплоть до эмиграции в 1972 г., жил Бродский, располагается рядом с православным Спасо-Преображенским храмом, в котором поэт не раз бывал, но все его детство и становление, в соответствии с духом времени, никак не было затронуто религиозностью. С Библией он познакомился, уже прочитав великие индуистские

---

\* The reported study was funded by RFBR, project No. 20-011-00385a "The iconography of ancient and medieval philosophers in Orthodox churches: the specificity of the visual representation of man in Russian culture".

тексты «Бхагаватгита» и «Махабхарата» – но опять-таки не как религиозно ищущий и стремящийся найти ответы в вере, а скорее как любопытствующий, из стремления к самообразованию [Полухина 2007, 309, 734–735]. Христианство было для него ценно, поскольку являлось носителем, остовом европейской культуры, и о себе Бродский говорил: «Я христианин, потому что я не варвар» [Там же, 30]. Поэтому он иронично назвал себя однажды «христианином-заочником»; и крестик, который он носил в 1972 г., был скорее не символом приобщенности к определенной *религиозной* общности, а знаком принадлежности к великой *общекультурной* традиции. Ее воодушевленность для многих интеллектуалов той поры, включая самого Бродского, была вызвана стихами из романа Пастернака «Доктор Живаго» [Там же, 240, 309]. И в дальнейшем, если брать в целом оценочные интонации его эссе и многочисленных интервью в отношении традиционных форм религии, особенно их институализированной и формализованной составляющей, то они выглядят как сдержанно скептические, критические, агностические; в этом контексте неудивительными предстают даже сомнения в существовании «того света» и вечной жизни [Волков 2007, 494].

И при этом, однако, не канонически понимаемая религиозность не только не отрицается, но всегда так или иначе проявляется в саморефлексирующих признаниях Бродского и его размышлениях о языке, поэзии и любимых поэтах. Более того, углубляясь в творческую историю поэта, неразрывно связанную с развитием понимания языка и уровнем претворения его возможностей в поэтической форме, его отношение к религиозности предстает в новом свете. Так, Бродский в 1963 г., после внимательного чтения Ветхого Завета, создает поэму «Исаак и Авраам», вдохновенную поимено известного библейского сюжета эрмитажной картиной Рембрандта «Жертвоприношение Авраама» и прочитанными в это же время работами Кьеркегора «Страх и трепет» и Л. Шестова «Кьеркегор и экзистенциальная философия» – двумя, пожалуй, самыми близкими ему философами. Примерно в 1964–1965 гг., когда уже были написаны «Рождественский романс» (1962) и вдохновенное картиной Рембрандта «Поклонение волхвов» первое «Рождество» (1963), он решает ежегодно писать посвященные Рождеству Христову стихотворные отчеты. В итоге рождественский цикл включал в себя двадцать три стихотворения, последнее из них было написано за месяц до смерти. (Праздник Рождества всегда был для Бродского более значим, чем праздник пасхального Воскресения). В 1972 г. поэт пишет стихотворение «Сретенье», празднование которого, 15 февраля, приходится на день рождения сына Бродского и именины Анны Ахматовой (которой и посвящено стихотворение). Естественно, этот список можно без труда продолжить, что и неудивительно, поскольку любой, тем более крупный поэт не может в своем творчестве не откликнуться на те или иные религиозные сюжеты.

Впрочем, это еще необязательно свидетельствует о традиционно понятой религиозности поэта. Неудивительно, что в конце жизни, в 1991 г., давая интервью Петру Вайлю, которое было посвящено теме Рождества, на прямой вопрос, верующий, религиозный ли он человек, Бродский ответил уклончиво: не знаю, иногда да, иногда нет, и чувствуется, что четкая самоидентификация в этом отношении для него была затруднительна, даже неприятна и уж точно не органична [Полухина 2007, 606]. Действительно, следует признать, что у большинства выдающихся, даже великих поэтов религиозный настрой определялся не напрямую приверженностью догматическим канонам, а собственно поэтическими формами языка. Поэтому в подлинной поэзии не язык есть *средство* религиозной манифестации, а религиозность – *следствие* (причем далеко не всегда «прямолинейное», лежащее на поверхности) определенным образом настроенной и осуществляемой поэзии языка. Собственно, *поэт служит Богу не в храме, а в языке*, и сам Бродский признавался: «...моя работа по большому счету есть работа во славу Бога», соглашаясь, что все его творчество проистекает из желания толковать Библию, и такая деятельность более религиозно значима, чем, по его собственному выражению, «стандартная набожность» [Там же, 553]. В самом деле, поэты приходили к религиозным темам и выражали их на путях

языка. В этом, при желании, можно усмотреть их религиозное призвание, служение, опыт: *через поэтическое слово – к Богу*, ведь «...в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Показательно, что на судебном процессе в ответ на вопрос судьи, благодаря чему он причислил себя к поэтам, Бродский несколько растерянно ответил: «Я думаю, это... от Бога». В этом смысле *поэтическая религиозность* Бродского стоит в одном ряду с поэтической религиозностью всех великих поэтов.

## 2

И все же здесь у Иосифа Бродского есть важная, выделяющая именно его путь поэтической биографии и эволюции особенность. На становление Бродского как поэта решающее влияние оказали *Джон Донн* (1572–1631), крупнейший английский поэт-метафизик и религиозный проповедник XVII в.<sup>1</sup>, и особенно *Уистен Хью Оден* (1907–1973), один из наиболее крупных англоязычных поэтов прошлого века, писавший интеллектуальную лирику с философско-религиозной направленностью. Для нас здесь принципиально подчеркнуть, что поэтический стиль и шире, философско-поэтическое, как мы увидим дальше, поэтико-религиозное мировоззрение Бродского было определено, во-первых, *языком английской поэзии*, а во-вторых, той линией английской поэзии, которая отличалась ярко выраженной метафизикой языка, являя собой своеобразный *метафизический авангард англоязычной поэзии* – здесь следует назвать не только Дж. Донна и У. Одена, но и У. Уитмена, У. Йейтса, Т. Элиота, Р. Фроста, Э. Марвелла, С. Спендера, Д. Уолкотта. Сочетание *английского языка и метафизики* языка, как нерва и остова такой англоязычной поэзии, определило собой становление Бродского как *русского поэта*, личное понимание и чувство языка вообще и в первую очередь языка поэзии, а также сформировавшееся на его основе довольно четко отрефлектированное мировоззрение, со своим философско-метафизическим и поэтико-религиозным фундаментом.

Из-за широты, многозначности, смысловой неопределенности и часто встречающейся произвольности толкования термина «метафизика» каждый раз его нужно стараться четко определять. Для этого сошлемся на многократно рассказанную самим Бродским историю его открытия для себя Одена. Находясь в ссылке в селе Норенское Архангельской области, Бродский получает от московского друга антологию английской поэзии на языке оригинала, которую он по чистой случайности, ставшей судьбоносной, начинает читать с элегии Одена 1939 г., посвященной памяти У. Йейтса, в которой эффект подлинного катарсиса вызвали слова:

Время, которое нетерпимо  
К храбрым и невинным  
И быстро остывает  
К физической красоте  
Боготворит язык и прощает  
Всех, кем он жив;  
Прощает трусость, тщеславие  
Венчает их головы лавром.  
(Time that is intolerant  
Of the brave and innocent  
And indifferent in a week  
To a beautiful physique  
Worships language and forgives  
Everyone by whom it lives;  
Pardons cowardice, conceit,  
Lays its honours at their feet.)

«Я помню, как я сидел в маленькой избе, глядя через квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только прочел, наполовину сомневаясь. Не сыграло ли со мной шутку мое знание языка. ...Но на этот раз словарь не победил меня. Оден действительно сказал, что время (вообще, а не конкретное время) боготворит язык, и ход мыслей, которому это утверждение дало толчок, продолжается во мне и по сей день. Ибо “обожествление” – это отношение меньшего к большему. Если время боготворит язык, это означает, что язык больше, или старше, чем время, которое, в свою очередь, старше и больше пространства... Так что, если время – которое синонимично, нет, даже вбирает в себя божество, – боготворит язык, откуда тогда происходит язык? Ибо дар всегда меньше дарителя. И не является ли тогда язык хранителем времени? И не потому ли время его боготворит? И не является ли песня, или стихотворение, и даже сама речь с ее цезурами, паузами, спондеями и т.д. игрой, в которую язык играет, чтобы реорганизовать время? И не являются ли те, кем «жив» язык, теми, кем живо время? И если время “прощает” их, делает ли оно это из великодушия или по необходимости? И вообще, не является ли великодушие необходимостью?» [Бродский 2015<sup>а</sup>, 378–379].

В этой цитате из посвященного Одну эссе «Поклониться тени» без труда можно обнаружить все основные положения поэтико-религиозной метафизики языка Бродского, а именно онтологический приоритет времени над пространством; необратимость времени; из временных измерений приоритет прошлого над настоящим и будущим; обожествление времени, которое, однако, полагается и определяется еще более божественным языком, понимаемым как исток самого времени; безусловный приоритет поэзии над прозой и всеми другими формами языка; признание за поэтическим языком, особенно посредством его формального измерения, способности реорганизовывать время, властвовать над ним, ускоряя или замедляя, сжимая или расширяя его в силу только ему известной необходимости; полагание языком – бытия, притом что время полагает и упорядочивает сущее; оценка поэтов, как тех, кем язык «живет», предстающих его верными и послушными медиумами, слугами, теми, через кого он говорит и являет себя; видение в поэтическом творчестве такого служения языку, в котором поэт полностью преодолевает свою собственную и шире, в целом, человеческую субъективную произвольность, подчиняясь и во всем следуя языку, принимая такое положение как высший дар и высшую ответственность; предельное возвышение эстетики, понимаемой в первую очередь как чувство и вкус языка<sup>2</sup>, что делает ее матерью этики и т.д. Все эти и ряд других положений Бродский будет постоянно отмечать в своих интервью и подробно развивать в своих эссе – как поэт, которому важно *отрефлексировать* в эстетических образах, интонациях, впечатлениях метафизическую сущность языка.

Таким образом, если и можно говорить о религиозности Бродского, то главным образом в отношении языка, как своего рода *философско-поэтической религиозности, с ярко выраженным акцентом на метафизике языка*. Собственно метафизической мистикой языка не удивишь: сразу вспоминаются Гельдерлин, немецкие романтики, Рильке, а в философии XX в. ранний Л. Витгенштейн и поздний, после «поворота» М. Хайдеггер [Рорти 1991, 121–133]. Но у Бродского и здесь есть несколько важных отличий. Во-первых, он развивает не столько мистику, сколько именно *метафизику языка* – ему вообще была чужда какая-либо мистическая экзатичность, воодушевленность, порывистость, причем как в языке, так и в жизни. Если он что-то от мистики и брал, то это была ориентация на *отрешенность*, некую сдержанную *невозмутимость* и *бесстрастность*, да и то это скорее напоминало установку не религиозного мистика, а философа-стоика. (Недаром он посвятил одно из самых своих проникновенных эссе Марку Аврелию [Бродский 2015<sup>б</sup>, 307–343]<sup>3</sup>.) Во-вторых, свою метафизику языка Бродский не просто претворяет в своей поэзии, но ее постоянно рефлексировать и осмысляет в своей эссеистической прозе – как *мыслитель*, исходящий из своего же опыта *поэта*, объединяя в себе тем самым поэтическую и, в широком смысле, философско-метафизическую установки. Наконец, в-третьих, и этот пункт для нас особенно важен, все перечисленные выше поэты и философы были немецко-язычные, что и неудивительно, учитывая отмеченный еще Гегелем особый метафизический

характер немецкого языка, сравнимый в этом отношении лишь с древнегреческим; Бродский же, как мы уже видели, определялся *духом английского языка*, и прежде всего языком Одена, причем это касалось не только стихов, изначально написанных им на английском<sup>4</sup>, но и всего его творчества как *русского поэта*, коим он себя всегда считал, а также вытекаемой отсюда определенной «системы» религиозно-метафизического понимания языка, довольно четкие очертания которой выражены в его многочисленных эссе и интервью.

Бродский не раз высказывался об *ordo lingua* английского языка, и ценность этих суждений не меньше, чем оценки ученого-лингвиста, ведь они даны поэтом, чувствующим язык, так сказать, изнутри. Прежде всего это язык, равнодушный к категории рода, аналитический, рационально-упорядоченный, язык ясных и отчетливых определений, антириторический, самой своей структурой избегающий всякого рода расплывчивости, неопределенности нюансов, двусмысленности, неоднозначности, что существенно затрудняет использовать его в целях демагогии и догматического манипулирования [Полухина 2007, 63, 581–583, 589, 743–744]. Для нашего поэта стремление к точности, ясности, прозрачности, которое так выразительно и полно представлено в английском языке, вообще-то лингвистично по своей природе, укоренено в самом языке и характеризует поэзию как таковую [Бродский 2015<sup>a</sup>, 196–197]. Такие характеристики позволяют видеть в английском языке чуть ли не оптимальное пространство для осуществления индивидуально-конкретной личности, без пафосности, миссионерства и универсалистских претензий, критически осуществляющей в состоянии невозмутимой отрешенности *письменный анализ* (с неизбежностью оборачивающегося самоанализом) настоящего и особенно уже прошедшего мира. Подавляющая часть эссе Бродского, в которых такая саморефлексирующая, автобиографическая и философско-эстетическая установка являет себя во всей глубине и выразительности, написана как раз на английском. Ведь английский язык для Бродского полагает собой некий отстраненный взгляд на мир, характеризующийся отрешенностью, бесстрастностью, монотонностью, нейтральностью<sup>5</sup>, и этой своей «объективностью» активно побуждающий развивать и разяснять мысль в установке постоянной саморефлексии [Полухина 2007, 144, 289]. Во всем этом английский отличен от русского языка, флективного по своей сути, с хитросплетениями придаточных предложений, спиральными ветками синтаксиса, языка «утешительного», проповеднического, акустического, что, например, наиболее выразительно представлено в «потоке сознания» Достоевского – языкового в своей основе [Бродский 2015<sup>a</sup>, 167–168, 280]. К слову, Бродский, по признанию его друзей, стеснялся своего публичного устного английского, но отличался блестящим письменным английским и декламацией русских (особенно своих) и англоязычных стихов [Янгфельдт web].

### 3

Таким образом, влияние английского языка со своим определенным ценностным этосом не ограничивалось поэтической сферой, а затрагивало весь строй мировоззрения Бродского. Поэт неслучайно видел для себя в языке не только культуру, но и определенное мироощущение, мировоззрение, систему ценностей, образ сознания и даже жизни, повседневного существования. Английский язык полагает дух личной ответственности, способность смотреть прямо, несмотря ни на что, в лицо действительности, и поэтому он «чрезвычайно здоровый язык». Бродский не раз признавался в любви к английскому языку, с которым у него, уже с юности, по собственному признанию, был «роман» [Полухина 2007, 312]. Более того, постепенно под влиянием *метафизической эстетики английского языка* в целом и особенно английского языка У. Одена стала соответственно определяться и вся *феноменальная эстетика образа И. Бродского*, от способа держать себя до манеры одеваться, в чем он стал походить на английского поэта [Янгфельдт web]. Так что «западничество», причем в «метафизически-англосаксонском» варианте, Бродского проявлялось во всей целостности его образа, включая направленность его поэзии, религиозно-метафизические и в целом

историко-культурные взгляды и даже в самой внешности. В отношении своего образа и существования эстетика у Бродского была определяющей, как у античных философов [Дорофеев 2018, 200–208]. Но, повторюсь, нужно всегда помнить, что изначально основной для этого, условно говоря, западничества, была не политическая идеология или умозрительная философия, а английская и американская поэзия, напрямую повлиявшая на *само-образ-ование* Бродского. Иначе говоря, этот выбор определялся прежде всего полагающимися английским языком *эстетическими предпочтениями*, и уже из них следовали религиозно-метафизические, этические, культурологические, даже политические выводы.

Именно англоязычная поэзия воспитала у Бродского ощущение поэтического языка как высшей, даже *божественной необходимости*. Иосиф Бродский многократно заявлял, что писатель и, особенно, поэт (поскольку поэзия есть высшая форма языка) находится в прямой *зависимости от языка*, он его «орудие», «слуга», «инструмент»; и голос муз – это лишь проявление «диктата» языка, одновременно выступающего условием свободы [Бродский 2015<sup>6</sup>, 67–69; Полухина 2007, 44–45, 57–58, 79, 164]. Отношения с языком, в написании или даже только чтении стихов, непосредственны, не нуждаются в посредниках (что сближает их с отношениями с Богом в мистическом опыте), являются личным, неразделимым ни с кем делом и потому способствуют развитию (само) сознания свободной частной индивидуальности. Но при этом эти отношения абсолютно вертикальны, в них язык приказывает и диктует, а поэт – исполняет и, вслушиваясь в приказы, записывает. Бродский подчеркивал, что поэт обращается не к людям, жившим, живущим ныне или тем, кто только будет жить, а непосредственно к самому языку [Полухина 2007, 112], и только его приказы он слушает и исполняет. В этом плане язык предстает воплощением божественной суверенности, причем трансцендентной, поскольку является независимым не только от самого поэта-автора, с его личным опытом и переживаниями, но и от всех людей, истории, культуры, этических норм, общества, даже самого бытия. Такое подчинение языку – залог и основание индивидуальной свободы, ведь оно раскрепощает поэта. Сам Бродский неоднократно подчеркивал, что поэзия вообще, по определению, является искусством *индивидуалистическим*, а английская и особенно американская поэзия есть «...настойчивая и нескончаема проповедь человеческой автономии; если угодно – песнь атома, бунтующего против цепной реакции» [Бродский 2015<sup>6</sup>, 231]. И «сродство» с ней, по собственному признанию Бродского, расковало его метрически и строфически [Там же, 555].

Индивидуалистический дух англоязычной поэзии соединился в Бродском с *необходимостью* рифмы, ритмики, цезуры, строфики, метрики и других формально-упорядочивающих характеристик поэтики, которым всегда придавалось особо важное, самозначимое значение в русской поэтической традиции; в таком диалоге – одно из оснований самобытной поэтики и метафизики языка Бродского. Подобные *структурные формы поэтики* придают языку необходимую строгость и одновременно освобождают его, это своего рода проявление *спонтанного порядка*, необходимого поэту при вслушивании в голос языка, отдающего ему приказ, которому нельзя не повиноваться. Иосиф Бродский всегда придавал таким формам основополагающее, можно сказать, краеугольное, онтологическое и даже религиозное значение в своей эстетике языка, что сильно контрастировало с западноевропейской поэзией, которая, в значительной части, например, перестала использовать рифму, перейдя на «белый стих», верлибр.

Впрочем, даже говоря об Уитмене, много сделавшего для переориентации рифмованной англоязычной поэзии на верлибр, Бродский отмечал, что сама каденция его стиха восходит к протестантской Библии и звучание его стиха пробуждает в слушателе и читателе воспоминание о протестантском проповеднике [Полухина 2007, 405]. Поэтому верность поэтической *форме* при переводе стихотворений была для Бродского обязательной и более важной, чем наличие адекватных по значению слов, и вообще носила почти религиозный характер. Эти проявляющиеся в структурных формах поэтики, принудительно-организующие и одновременно освобождающие порядки языка

являлись аналогом или даже воплощением божественной необходимости, осознанное принятие и подчинение которой делают Бродского свободным – и как поэта, и как человека, помогая преодолевать свою субъективную произвольность. Они формировали независимость от власти любых мирских фактичностей, предоставляя голос самому языку и, являясь его рупором, медиумом, вестником, говорящему в поэзии от лица Бога и бытия. Более того, сам Бродский признавался, что для него *язык и является Богом*, самым святым, и если бы он хотел создать теологию, то это была бы «*теология языка*» [Полухина 2007, 100, 242].

#### 4

Совсем нетрудно увидеть в этой освобождающей человека необходимой *принудительности языка* (в том числе выражающейся в необходимости следовать и подчиняться формам поэтики) аналог *произвола божественной предопределенности* в протестантизме, условием принятия которой и тем самым условием обретения индивидуального освобождения является безоговорочный отказ от собственной личной свободы воли. Фатализм, кстати, был свойственен миро- и самоощущению самого Бродского.

Вспомним, что в протестантизме безусловное, безоговорочное, вплоть до самоотречения и самопреодоления, без каких-либо посредников подчинение и принятие божественной воли составляет саму суть осуществляющейся исключительно во внутреннем опыте веры (*solo fide*), является условием и фундаментом индивидуальной свободы человека в мире – и *от* мира. Макс Шелер как-то определил человека как аскета жизни, как вечного протестанта, могущего сказать жизни «нет» [Шелер 1994, 164]. Удивительным образом Бродский, независимо от Шелера (которого он мог попросту и не знать), повторяет эту мысль [Волков 2007, 568]. Думаю, и слова Цветаевой, наряду с Оденем, самого близкого Бродскому поэту, «На твой безумный мир // Ответ один – отказ» важны Бродскому именно тем, что таким протестантским «нет», чье выражение в поэзии подымает человека *над* миром, обретается свобода в нем.

М. Цветаева родственна Бродскому как раз тем, что в своей поэзии воплощала предельно жестокий, кальвинистский дух личной ответственности, пронизанный почти мазохистской беспощадностью к себе, и отвержение действительности составляла суть этой позиции [Бродский 2015<sup>a</sup>, 195–196]. И ценность этого неприятия мира еще и в том, что он носит априорный характер, не является реакцией на какую-то конкретную сторону мира, нет, это *единственно возможный поэтический ответ* на его сущностную, изначальноную абсурдность, испорченность, греховность которую поэт с кальвинистским мужеством осознает и принимает. Причем неприятие действительности было продиктовано у Цветаевой не этикой и религией, а эстетикой, в частности, фонетикой русского языка, стилистикой фольклорных причитаний [Там же, 198–199]. Бродский в другом месте неслучайно называл Цветаеву «библейским Иовой в юбке», человеком с «темпераментом Иовы», самым кальвинистским поэтом, сравнимым в этом с Л. Шестовым [Полухина 2007, 447, 569, 590]. Действительно, она готова была идти до самого конца, предела, не изменяя своему пути ни на йоту и самоотверженно принимая все страдания и мучения, что выпадали ей на нем. Можно сказать, что к кальвинизму как мироотношению и самоотношению Бродский пришел благодаря определенному пониманию языка, будучи воспитан определенными его поэтами и мыслителями.

В одном из последних интервью, которое он давал в самом начале ноября 1995 г., Бродский прямо называет себя кальвинистом [Полухина 2017, 735–736], а в своих разборах языка любимых поэтов и писателей, отношений человека к себе и миру он часто обращается к Жану Кальвину. Кальвинизм, как известно, одно из наиболее радикальных ответвлений протестантизма, и нам важно понять, почему поэт относит себя к нему. Думаю, понятно, что он использует эту самоидентификацию не *de jure*, а предельно широко, как некий символ, более или менее точно схватывающий суть определенного мироощущения и самопонимания, состоящего, в частности, в принятии божественного своеволия, признании неискоренимой испорченности человека и мира,

необходимости подвергать самого себя безжалостному суду. Скорее всего, в кальвинизме Бродский *post factum* нашел наибольшее соответствие тем своим мировоззренческим установкам, принципам, позициям, которые сформировались в нем под прямым влиянием эстетики английского языка и поэзии и которые были следствием его поэтики и эстетики. Для Бродского быть писателем и поэтом неизбежно означало «...быть протестантом или, по крайней мере, пользоваться протестантской концепцией человека», состоящей в том, что его за изначальную и непреодолимую греховность судит не Бог или Церковь, как в православии или католицизме, а он сам, причем судит себя самым строгим, беспощадным образом, не предполагающим какой-либо лазейки прощения и самооправдания [Бродский 2015<sup>a</sup>, 169]. Показательными примерами такого кальвинистского, по сути, самоотношения были для Бродского Достоевский и Цветаева.

Не исключено, что к концу жизни кальвинизм стал просто психологически ближе Бродскому – и как человеку, и как поэту. Это, например, видно из сравнения до эмигрантской, более эмоциональной, и эмигрантской, более холодно-отрешенной, *sub specie aeternitatis*, поэзии. Кстати говоря, и сам Бродский признавал эволюцию своей поэзии в сторону максимального увеличения ее монотонности и нейтральности звучания, которое должно напоминать звук маятника, а не музыки, преодолевая любую лирическую составляющую [Полухина 2007, 124]. По этой же причине поздний Бродский часто использует классический четырехстопный амфибрахий как наиболее подходящий для создания такого эффекта выразительности. Вообще о том, как «работают» стихотворения Бродского, существуют многочисленные исследования отечественных и западных славистов [Лосев, Полухина 2002].

Впрочем, не желая строить домыслов, подчеркнем следующее. Протестантизм в целом и особенно кальвинизм основан на предельной *удаленности*, благодаря первородному греху и неотъемлемой греховности, человека от Бога, который выступает прежде всего как строгий неподкупный судья, для которого нет и не может быть оправдывающих ссылок. Для кальвинизма, как и для иудаизма, было важно преодолеть любые соблазны антропоморфного понимания Бога в пользу его абсолютной трансцендентности. Поэтому, кстати, Бродский также неоднократно признавал более близким для себя ветхозаветное понимание Бога как воплощение абсолютно трансцендентного произвола и своеволия [Полухина 2007, 99–100]. «Диктат языка», таким образом, выступал оборотной стороной «диктата Бога», предстающего прежде всего грозным и неподкупным Судьей (что особенно контрастирует с православной христоцентричностью). И если вспомнить, что в протестантизме, особенно в кальвинистском его варианте, Бог открывается исключительно во внутреннем опыте, преодолевая любые формы «феноменальной объективации» и «антропоморфизации» (которые есть основа визуальной коммуникации верующего с Богом в молитве перед Его образом на иконе), то получается, что мы имеем такую установку самоосуждения, самопринуждения, самодолженствования, исток которой – в грозно и неумолимо звучащем *внутри человека* голосе трансцендентного Бога. Подобный разрыв между неантропоморфным Богом и человеком обостряет ощущение божественной произвольности, аналога античного фатализма, перед которой человек беззащитен и беспомощен. Как кажется, этот радикальный разрыв для Бродского и сближает кальвинизм с иудаизмом, и он же сделал для него Льва Шестова наиболее близким мыслителем [Там же, 545–547]. Бродский был свободным от конфессиональных ограничений, и он легко объединял для себя Бога Авраама и Исаака с Богом Жана Кальвина. И Бог внутри человека – исключительно Судья; его голос – это нескончаемые обвинения и приговоры, без какой-либо возможности защиты, прощения и оправдания. В кальвинизме вообще отношение к собственной греховности абсолютно безапелляционное, в своей честности предельно жесткое, вплоть до *внутреннего мазохизма*. И здесь опять вспоминается сравнение с иудаизмом, ведь уже в 1973 г., когда позиция Бродского на этот счет уже, видимо, в основном была сформирована, он признавался в симпатиях к Ветхому Завету, предпочитая его Новому Завету, поскольку он воплощал собой идею нескончаемого суда и само-суда, личной ответственности и отвержения любых оправданий [Там же, 30]. Иудаизм

оказался созвучным пониманию Бродским высшего начала, объединившись в этом с кальвинизмом (поэтому он часто говорил о них вместе); но, подчеркиваю, в обоих случаях поэт был ведом эстетикой и метафизикой языка. Ведь кальвинизм и иудаизм для Бродского – это не просто и даже не столько собственно религиозная позиция, сколько определенное мироощущение, самопонимание, эстетика своего образа и этика жизни, то есть все то, что сформировалось благодаря его отношению к языку, который, собственно, такую позицию во многом и сформировал.

Поэзия Бродского, конечно, иная, однако ценностные ориентиры – «индивидуализм», радикализм, нескончаемая саморефлексия, автономность, фатализм, пессимизм, антиидеализм, кальвинизм – схожи, и к ним он пришел благодаря поэзии, в том числе самой Марины Цветаевой и Уистена Одена, а также таким мыслителям, как С. Кьеркегор и Л. Шестов. И их кажущаяся непохожесть не должна отпугивать. Так, сам Бродский признавал, что оба поэта шли к одной и той же цели, но разными путями, поскольку «...время говорит с индивидуумом разными голосами», и у каждого великого поэта свой интимный контакт, своя личная связь со временем, результатом чего является его уникальная, каждый новый раз отличающаяся реорганизация в стихотворении [Волков 2007, 70–71]. И если стиль поэзии Бродского, да и сам его внешний образ ближе к бесстрастности Одена, от которого он взял отрешенность, смиренную сдержанность и послушание перед языком, установку на внешне не выделяющуюся частность существования, непафосность образа, то другие, более глубинные остовы его мировоззрения восходят к протестному, кальвинистки непримиримому и радикальному духу Цветаевой. Как может показаться, такое сочетание трудно осуществить, ведь оно объединяет столь разные установки. Но именно они стали основанием уникальности поэтики, эстетики и самого образа Бродского, и без этих сторон его собственное оригинальное философско-метафизическое и религиозно-поэтическое мировоззрение и творчество трудно понять. Ведь не так часто к религии и метафизике приходят благодаря определенному *этосу языка*. Именно язык, английский и русский, в своей высшей форме – поэтической – открыл для Бродского собственный путь в поэзии и привел его, через осмысления собственного поэтического опыта, к религиозной метафизике и поэтике.

### Примечания

<sup>1</sup> Отдельно нужно отметить, что на зарождение и развитие интереса Бродского к поэтической религиозности прежде всего повлиял как раз Джон Донн, его цикл из семи сонетов под названием *La согопа*, посвященных основным событиям новозаветной истории (Благовещение, Рождество, Храм, Распятие, Воскресение, Вознесение) поэт переводил в самом начале 60-х, еще до обращения к рождественской теме.

<sup>2</sup> Очень важно, что вкус и язык – это не только основополагающие понятия эстетики, но и важные составляющие физиологии человека. Бродский объединяет эти два аспекта (эта мысль развивается в статье: [Черняков 2016, 503–516]).

<sup>5</sup> «...Бродский всегда страшится аффектации. Его интонация может скрывать в себе все что угодно – холодность, грубость, скуку, отвращение, – но только никак не назойливую аффектацию. ...Когда я думаю об интонации Бродского, мне чудится *серый* цвет – тот, что иногда в осенние деньки сплавляет в единый серый кристалл воду Финского залива и низкое небо над ним» [Черняков 2016, 508]. Подобная стоическая серая отрешенность максимально выразительно раскрывалась в неповторимой манере чтения Бродского, являющейся манифестацией его отношения к миру, жизни, себе.

<sup>4</sup> Число которых в его творческом наследии очень невелико, всего около тридцати, и их значение, что признавал и сам поэт, не стоит преувеличивать, а причиной их создания, по его собственному признанию, являлось желание быть ближе к Уистену Хью Одну [Бродский 2015, 82].

<sup>5</sup> Здесь сразу вспоминается декламационная манера чтения собственных стихов Бродским, которая отличается этими особенностями и которую не зря сравнивали с заклинанием, чтением псалмов и в целом литургическим чтением [Полухина 2007, 52, 141–143, 455].

## **Источники и переводы – Primary Sources in Russian and Russian Translations)**

- Бродский 2015<sup>5</sup> – *Бродский И.А.* Меньше единицы. СПб.: Лениздат, 2015 (Brodsky, Joseph, *Less than One. Selected Essays*, in Russian).
- Бродский 2015<sup>6</sup> – *Бродский И.А.* О скорби и разуме. СПб.: Лениздат, 2015 (Brodsky, Joseph, *On Grief and Reason. Essays*, in Russian).
- Волков 2007 – *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Эксмо, 2007 (Volkov, Solomon M., *Conversations with Joseph Brodsky*, in Russian).
- Полухина (сост.) 2007 – *Полухина В.* (сост.). Иосиф Бродский. Большая Книга интервью. М.: Захаров, 2007 (Polukhina, Valentina P., ed. *Joseph Brodsky. Books interviews*, in Russian).
- Шелер 1994 – *Шелер М.* Положение человека в космосе // *Шелер М.* Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 129–194 (Scheler, Max, *Die Stellung des Menschen im Kosmos*, in Russian).

## **Ссылки – References in Russian**

- Дорофеев 2018 – *Дорофеев Д.Ю.* Эстетика образа и этика жизни античного философа // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 200–208.
- Лосев, Полухина 2002 – Я входил вместо дикого зверя в клетку. Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе / Под ред. Л.В. Лосева, В.П. Полухиной. М.: НЛО, 2002. С. 133–158.
- Рорти 1991 – *Рорти Р.* Витгенштейн, Хайдеггер и гипостазирование языка // Философия Мартина Хайдеггера и современность / Под ред. Мотрошиловой Н.В. М.: Наука, 1991. С. 121–133.
- Черняков 2016 – *Черняков А.Г.* Упражнение в языкознании. К 65-летию Иосифа Бродского // Черняков А.Г. Об утрате очевидности: на пути к новой онтологии. СПб.: ВРФШ, 2016. С. 503–516.
- Янгфельдт web – *Янгфельдт Б.* Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском. М.: Corpus, Астерель, 2011 // [https://royallib.com/read/yangfeldt\\_bengt/yazik\\_est\\_bog\\_zametki\\_ob\\_iosife\\_brodskom\\_s\\_illyustratsiyami.html#225280–225760](https://royallib.com/read/yangfeldt_bengt/yazik_est_bog_zametki_ob_iosife_brodskom_s_illyustratsiyami.html#225280–225760)

## **References**

- Chernyakov, Alexey G. (2016). “Exercise in Language-Knowledge. To the 65th Anniversary of Joseph Brodsky”, Chernyakov, Alexey G. *On the Loss of Evidence: on the Way to a New Ontology*, VRFSh, Saint-Petersburg, pp. 503–516 (in Russian).
- Dorofeev, Daniil Y. (2018) Aesthetics of Image and Ethics of Life of Ancient Philosopher, *Voprosy Filosofii*, Vol. 6, pp. 200–208 (in Russian).
- Jangfeldt, Bengt web – Yangfeldt, B. *Language is God. Notes on Joseph Brodsky*, Corpus Astrel, Moscow, 2011 // [https://royallib.com/read/yangfeldt\\_bengt/yazik\\_est\\_bog\\_zametki\\_ob\\_iosife\\_brodskom\\_s\\_illyustratsiyami.html#225280–225760](https://royallib.com/read/yangfeldt_bengt/yazik_est_bog_zametki_ob_iosife_brodskom_s_illyustratsiyami.html#225280–225760) (in Russian).
- Losev, Lev V., Polukhina, Valentina P., eds. (2002) *How does Brodsky’s Poem Work. From Studies of Slavists in the West*, NLO, Moscow, pp. 133–158 (in Russian).
- Rorty, Richard (1991) “Wittgenstein, Heidegger and the Reification of Language”, *Essays on Heidegger, and Others, Philosophical Papers II*, Cambridge University Press, NY, pp. 50–65.

## **Сведения об авторе**

**ДОРОФЕЕВ Даниил Юрьевич** – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии Санкт Петербургского Горного университета (СПГУ), Санкт-Петербург.

## **Author’s Information**

**DOROFEEV Daniil Yu.** – DSc in Philosophy, Docent, Professor, Department of Philosophy, Saint-Petersburg Mining University (SPMU).